

---

---

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

---

---

ЭСТЕТИКА  
И ЛИТЕРАТУРНАЯ  
КРИТИКА



МОСКВА  
«ИСКУССТВО»  
1984

**Вяземский П. А.**  
В 99 Эстетика и литературная критика /Сост., вступ.  
статья и коммент. Л. В. Дерюгиной.— М.: Искусство,  
1984.—458 с.—(История эстетики в памятниках и  
документах).

В сборник вошли литературно-критические и эстетические статьи и мемуарно-биографические очерки П. А. Вяземского /1792—1878/, главы из его монографии о Фонвизине, фрагменты из записных книжек и писем. Наибольшее внимание уделяется соотношению литературы и общественной жизни, национальному своеобразию литературы и искусства, борьбе литературных направлений первой половины XIX века. Большая часть материалов в советское время переиздается впервые.

• 0302060000-82  
В \_\_\_\_\_ 10-84  
025(01)-84

ББК 83.3Р1  
8Р1

---

---

ПОЗДНЯЯ РЕДАКЦИЯ СТАТЬИ  
«ВЗГЛЯД НА ЛИТЕРАТУРУ НАШУ В ДЕСЯТИЛЕТИЕ  
ПОСЛЕ СМЕРТИ ПУШКИНА»

---

---

I

Один из главных недостатков нашей литературы заключается в том, что наши грамотные люди часто мало образованны, а образованные часто мало грамотны. У нас такой сложился порядок, что образованность сама по себе, а грамотность сама по себе. Можно к этому еще прибавить, что нередко встречается дарование, при котором нет ума, и ум, при котором нет дарования. У нас вообще всего труднее сводить концы с концами. Концы так врозь и так напряженно разрослись, что они расползаются, если захочешь их пригнать. По большей части пишут у нас те, которым писать нечего и не о чем. Те, которым писать было бы о чем, не имеют привычки или дичатся писать. Люди, не принадлежащие к разряду присяжных писателей, боятся выставить себя напоказ, боятся причислить себя к известному ремеслу и вписаться в известный цех *сочинительства*. Сочинитель у нас такая же отдельная личность, как, например, зубной врач. Недостает только вывески на месте жительства, но подразумеваемая вывеска не менее того бросается всем в глаза. Сочинитель не в силах скидывать ее с себя ни дома, ни на улице, ни в гостях. Он как-то и в семье своей сперва сочинитель, а там уже муж и отец. Это какой-то несмываемый первородный грех. Вообще многие не любят, чтобы именовали их по званию, а не по настоящей их личности. Каждый хочет непременно быть Василием Ивановичем или Иваном Кузьмичом, а и того лучше его высокоблагородием и его превосходительством, но уж никак не господином доктором, не господином профессором и т. д. Помню, например, как князь Иван Михайлович Долгоруков жаловался мне на покойного отца моего, который в разговоре обыкновенно именовал его «господин вице-губернатор», когда он занимал эту должность в Пензе, а мой отец был генерал-губернатором нижегородским и пензенским. Видно, что это неудовольствие крепко засело в память и душу его, ибо оно отозвалось по миновании многих лет<sup>1</sup>. Пушкин также не любил слыть в обществе стихотворцем и сочинителем. Таковым охотно являлся он

в кабинете Жуковского или Крылова. Но в обществе хотел он быть принимаем как Александр Сергеевич Пушкин. Понимаю это. Но если уж и он, достигнувший славы *сочинительством*, как бы чуждался патента на нее, то каково же другим, второстепенным сочинителям, но людям рассудительным, навязывать на себя эту цеховую бляху, только что не под номером. Что-то похожее было и со мною. Однажды летом заехал я на дачу к графу Кутайсову, который жил тогда у тестя своего, светлейшего князя Лопухина. Пока я ожидал в передней, чтобы доложили обо мне, слышу, как старый и дребезжащий голос хозяина дома спрашивает: «Кто это приехал?» Какой-то женский голос отвечает громко, потому что князь Лопухин уже худо слышал: «Вяземский». «Какой Вяземский?» — спрашивает тот же старческий голос. И та же женская речь раздается громогласно: «Сочинитель». Тут хотелось мне ворваться в комнату и также в свою очередь прокричать: «Не сочинитель, ваша светлость, а сын покойного приятеля вашего, князя Андрея Ивановича Вяземского». Сюда напрашивается еще следующий рассказ. Один военный начальник строго выговаривал молодому подчиненному своему за то, что он занимается сочинениями и печатает себя в журналах. «Что это вздумалось тебе? — говорит он. — На это есть сочинители, а ты гвардейский офицер». Выговор может, разумеется, показаться довольно странным, но он не лишен некоторого основания и по общим принятым понятиям объясняется, если не вполне оправдывается. Знаменитый Манзони был почти того же мнения, но в другом отношении. Он говорил мне в Милане в 1835 году, что со временем звание писателя совершенно упразднится и сольется со всеми другими званиями, потому что способность писать и привычка отдавать себя в печать, когда нужно, будут общие принадлежностью всех образованных людей. А надеяться должно, что со временем все люди будут более или менее образованны. Из того, разумеется, не следует, что все будут поголовно поэты и отличные прозаики, как и ныне в числе словесных тварей не все Демосфены и Цицероны. Дело только в том, что авторство и письменность не будут особенностью и почетным исключением. Мы уже видим, что на Западе многие не принадлежащие к касте так называемых литераторов пишут и печатают свои записки (*mémoires*), путевые впечатления, письма и так далее. Они литературою, так сказать, не промышляют и не живут, но все-таки они сподвижники в деле книгопечатания и признают Гутенберга своим предком. Дело в том,

что они просто люди грамотные и пользуются грамотою как общим человеческим достоянием и домашним орудием.

Между тем когда на Западе грамотность или письменность вообще распространяется, творения собственно литературные падают более и более. В то самое время, когда литераторы перерождаются в публицистов и в политические лица, выдвывая из литературы, то есть из журналистики, ступень для достижения парламентской трибуны, а от нее префектуры или министерского кресла, политические лица, депутаты, министры силою обстоятельств и общего давления втягиваются в журнальную и письменную деятельность. Там редко найти литератора, который был бы не что иное, как литератор, и довольствовался бы этим званием. Исключений так мало, что они в счет не входят. Из известных мне во Франции, может быть, и есть только одно исключение, достойное особенной отметки. Это Сент-Бев. Едва ли не он один остался верен свободному, бескорыстному и наследственному служению\*. Еще назвать могу одно исключение, которое встречал я в Париже и в Риме, а именно поэта-булочника Ребуля (Reboul). Это замечательная личность и по дарованию, и по добродушию и нравственным качествам. Впрочем, позднее и он был оторван от хлеба насущного и от хлеба духовного, но не надолго: он был в округе своем избран в члены представительного собрания. Впрочем, куда ни посмотри, в Англии, в Германии, а в особенности во Франции литература ныне не что иное, как средство и орудие. Некогда могучая и самобытная республика писмен (*la république des lettres*) занимает в настоящее время в статистике всемирной место едва ли не уступающее в значении и силе республике Сан-Марино, которую не заметил и, следовательно, не проглотил и сам Наполеон I. Все, что ныне читается с жадностью, разве это литература в прежнем смысле этого слова? Священнослужение обратилось более или менее в спекуляцию и промышленность. Кто ныне пишет поэмы? Куда девалась трагедия? Сколько различных родов пиитики и статей литературного уложения пропало без вести! Исторические творения, как пишут их ныне Тьер, Ламартин, Луи Блан,

\* Эти строки были написаны тому четверть века и более. В то время знавал я Сент-Бева в салоне г-жи Рекамье. Тогда был он, между прочим, поклонником, послушником и почти прислужником Шатобриана. По смерти г-жи Рекамье и сго он изменил своему чистому призванию и своим верованиям. Он издал большую книгу о Шатобриане или, скорее, против Шатобриана. Он сжег то, что прежде обожал. Во время второй империи он назначен был сенатором; но, впрочем, и тут, надобно сказать правду, умел он при всем этом сохранить некоторую независимость, оставаясь литератором и написал несколько превосходных критических и биографических статей.

Мишле, даже литературные курсы, какие преподаются, например, парижскими профессорами, разве все это чистая и бескорыстная литература? Везде из-под литературной оболочки проглядывают политика, дух партий, задние мысли, гражданские и социальные утопии и прочее вообще литературное.

Тут вспомнишь Крылова:

Сосед соседа звал откусать,  
Но умысел другой тут был<sup>3</sup>,

и прибавишь:

Сосед политику любил  
И звал политики послушать.

История, роман, поэзия, все это перегорело в политический памфлет разных видов, целей и размеров. Все это может быть и потребность или прихоть времени. Вовсе не слушать этих потребностей и прихотей неуместно и невозможно. Вполне победить их трудно, но слепо прислуживать им и рабски повиноваться не следует. Во Франции о литературе даже почти не упоминается. Это слово вытеснено другим: «la presse», то есть «печатность». Выражение материального значения заменило выражение, имевшее более нравственное значение. Это не случайность, а полный смысла признак настоящего времени. Вещественность поборола духовность, и побежденная не иначе может проявляться, как под знаменем своей победительницы. Еще за двадцать пять лет тому Вальтер Скотт, Байрон, Манзони были явления возможные. Голос их раздавался во всех концах образованного мира. Новый роман — и, заметьте, роман не политический, не социальный, — новая поэма, новая драма были события в общественной жизни. Они возбуждали повсеместное внимание и сочувствие. Старик Гёте читал и изучал молодого Байрона, Байрон изучал Гёте; о публике, о большинстве образованных читателей и говорить нечего. Великие художники держали в руке своей умы и сердца очарованного ими поколения. Ныне очарования нет. Времена чародеев минули. Сила и владычество вымысла и художественности отжили свой век. Ремесленники слова этому радуются и празднуют падение идеальных предшественников. Капища опустели, говорят они: теперь на нашей улице праздник. Спросим: многие ли ныне пишут потому, что в груди их волнуются и роятся образы, созвучия, которые невольно и победительно просятся в формы, в картину, в жизнь искусства, в отвлеченное, но живое воссоздание мира,

жизни духовной и вместе с тем жизни действительной? Кто пишет для того, что ему в силу воли и закона природы необходимо и сладостно разрешиться от бремени, таящегося и зреющего в груди его? Гёте, Шиллер были бы очень неуместны в нынешней Германии. Им было бы неловко и как-то совестно. Можно предположить сбыточность всех возможных преобразований в Италии, но есть ли возможность предположить, что в ней вяжутся новый Тассо, новый Ариосто? Тот же Манзони, написав один превосходный роман<sup>4</sup>, заперся в молчании своем. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо и другие знаменитости, старшая ветвь литературного дома, бессознательно подготовившие нынешнюю Францию, возвратись они на землю, не признали бы законными наследниками своими младшую ветвь, воцарившуюся во французской литературе. Вольтер и Руссо отреклись бы от потомков своих. Мы видим, что железные дороги частью уже упразднили, а со временем и окончательно упразднят бывшие путевые сообщения. Другие силы, другие пары давно уже уволили огнекрылатого коня, который ударом копыта высекал животворные потоки, утолявшие благородную и поэтическую жажду многих поколений. Ныне Пегас — та же кляча Россинант, на которой разъезжал рыцарь печального образа, и поэт в наше время едва ли не тот же Дон Кихот.

## II

Мы по привычке своей несколько уклонились от предназначенного себе пути. Увлекаясь проселочными дорожками, мы невольно и незаметно для себя забрались в чужие отъезжие поля. Что же делать, если эти соседние поля более заманчивы, чем наши? Там есть где разгуляться, где поохотиться. Там более простора, более поживы. А впрочем, сказанное нами о литературах иностранных можно приблизительно применить и к нашей. Разница между ними в оттенках и во времени. Если сходство не вполне обозначается сегодня, оно может обозначиться завтра. Атмосферические токи сообщаются и переносятся повсюду с неотразимою силою. Литература наша сбивается немножко на провинциальную щеголиху, которая обновляет на себе моды, в столицах уже несколько изношенные.

Теперь возвратимся к своим рубежам, или *островам* (охотничье выражение). Мнение Манзони, нами выше приведенное, о переходе литературы из частной среды в общий разлив, так что уже трудно будет размежевать

чресполосные уголья и обозначить столбами, где кончается литература и где начинается жизнь, или наоборот, если это мнение вполне и осуществится когда-нибудь и где-нибудь, то, во всяком случае, у нас гораздо позднее, нежели у других. На это много очевидных причин. У нас литература не слишком разнообразна и богата. Как же надеяться, чтобы она могла скоро разлиться через край и оросить дальние окрестности и оплодотворить новые жатвы? Жизнь наша пока еще мало литературна, а литература мало жизненна. Писатели наши, за редкими исключениями, не только по старым предрассудкам общества, но и по собственным предубеждениям живут чересчур особняком. По каким-то стремлениям к худо понимаемой независимости, по какой-то ложной гордости многие из них не хотят повиноваться условиям того, что называется, и, впрочем, того, что есть в самом деле, высшим обществом. Что же выходит из этого горделивого отщепенства? Последствия прискорбные! Писатели остаются в стороне. Литература, живая сила, относится ими на второй или нередко и задний план, а потому и передают нам они наблюдения, впечатления, так сказать, из вторых и третьих рук. Пожалуй, иное иногда сказано и красиво, и ловко, но нет жизни, потому что между писателями и жизнью углубилась бездна. Жизнь действует, волнуется, совершенствуется, ошибается мимо тесного их горизонта. Никогда не бывают они с жизнью в одном и равном диапазоне. Ученым изыскателям таинств науки и природы удаление от шума и столкновения событий может быть благоприятно, хотя, впрочем, оно и не есть необходимо. Мы видим, что Гумбольдт, утренний труженик, вместе с тем и вечерний салонный и любезнейший собеседник. Писатель светский должен и сам быть на поле действия и битвы. Он должен быть в одно время и соглядатаем и бойцом. Он должен проверять умозрения свои опытами действительности и покорять действительность исследованиям и разложению своих умозрений.

Ничего нет забавнее доктринерского высокомерия некоторых писателей наших, когда они с жалостью и презрением отзываются о легкомыслии, пустоте и недостатке нравственных начал нашего высшего, или аристократического, общества. Во-первых, хочется спросить многих из них: а вы почему это знаете? Во-вторых, просить их указать нам на этих стойков и квакеров нашего среднего общества, которые мужеством и доблестью и смиренным благочестием могли бы пристыдить слабодушие и предосудительные поползновения грешников выс-



шего общества. Где же эти литературные труженики, эти бенедиктинцы, святые отцы науки, которые посвятили себя исключительно подвижничеству мысли и слова, собрали сокровища науки и, мимо высшего общества, одни, сами собою, облагодетельствовали и просветили русский мир? Где они? Укажите, Бога ради. А пока не следовало бы нам ни в каком случае забрасывать друг друга укоризнами и камнями. Все мы более или менее грешны; но грех в высшем обществе более вежлив, благообразен, сдержан. Притворство, ханжество (*hypocrisie*), сказал кто-то, есть дань порока, платимая добродетели<sup>5</sup>. Спасибо и за это! Загляните у нас в литературскую жизнь: вы найдете те же уклонения, немощи, свихнутия, что и в высшем обществе, потому что слабости и страсти людские искони те же и те же. Только в высшем кругу эти изъяны, эти пятна прикрыты аттическим блеском, смягчены аттической вежливостью. Молодая аристократия отправляется кутить к Кулону или Дюссо; молодая русская грамотность забирается с тою же целью в трактир Палкина или в какой-нибудь «Лиссабон»\*. Один суровый литературный раскольник пенял молодому ученику, что он пробирается в враждебный стан и поклоняется чужому знамени. Что же делать, отвечал он, там лучше кормят, после обеда предлагают отличную сигарку, да и дамы как-то опрятнее. Аристократические салоны не помешали Карамзину написать 12 томов «Истории», Пушкину написать в короткое время несколько превосходных произведений. Напротив, может быть,—о ужас!—эти салоны способствовали развитию, разнообразию и укреплению их дарования. Исключительный дух товарищества, что-то вроде замкнутого заведения, суживает понятия: тут не себя переносишь в среду жизни, а жизнь переносишь в свой заколдованный круг, окорочиваешь и заключаешь ее в тесных границах. Я был в сношениях со многими, едва ли не со всеми современными литераторами нашими. Из впечатлений и следов, оставшихся на мне от разговоров с ними, глубже и плодоноснее врезалось слышанное мною от Карамзина, Дмитриева, Пушкина, Баратынского.

Писатель везде более или менее—а у нас решительно более—ремесленник или волшебник, наемник или повелитель. Среднего места ему в обществе еще нет. Он стоит или выше или ниже других. На него смотрят или с чувством снисходительного участия, похожего на жалость, или с каким-то слепым суеверием.

\* «Лиссабон»,—говорит Мятлев в описании петергофского праздника,—не на бон»<sup>6</sup>.

При таких условиях и в таком положении дела русская литература имеет особенное значение и ей исключительно свойственный характер. Она не достигла еще того возраста, который пережила или переживает литература других народов. Там она во многих частях, так сказать, перезрела: у нас во всех частях еще не созрела. Там она сила ветшающая; у нас возрастающая. Там она живет более минувшим, привычками и сочувствиями, перешедшими к ней в виде преданий. У нас живет она более залогом и упованиями на будущее. Так и чувствуешь, что у нее еще многое впереди. Чем действия ее ограниченнее, тем более должна она сосредоточиваться. В литературе нашей еще должно господствовать единодержавие, или по крайней мере литературная власть должна быть принадлежностью сильной и умной олигархии. Литературная демократия, безначальство у нас никуда не годится.

Власть, разбитая по многим рукам, власть, сошедшая с вершин на плоскости, не умножает внутренней силы литературы, а только роняет достоинство ее. Власть большинства рождает посредственность. Плодущие роды не всегда обозначают сильную организацию. А из явившихся на свет иные оказываются мертворожденными, многие не живучими. Власть должна оставаться достоянием немногих, но только была бы она зиждительна и законно устроена. Таков закон природы и Провидения. Великие умы, высокие дарования никогда и нигде не рождаются сплошь да рядом. Светлые исторические и литературные эпохи имели всегда во главе своей немного избранных и предназначенных к делу представителей. Великие истины воплощаются и проявляются всегда в одном лице, а от него уже развиваются по общинам поколений. Наши предки очень благоразумно выразили пословицу «Vox populi — vox Dei»: «Глас Божий — глас народа». Оно то же, да не то же. Глас Божий передается из века в век устами избранных, и тогда глаголы их усваиваются народом. Но глас народа, то есть толпы, не только не всегда бывает выражением вечной истины, но большею частью он голос предубеждений, голос лжи и слепых страстей. Это не глаголы, а *слухи*<sup>7</sup>. Многие радуются, что развелись литографы и дагерротипы. Но, кажется, при этом можно бы пожалеть о том, что не рождаются давно Рафаэли и Корреджио. В лучшие эпохи и у нас литературная держава переходила как будто наследственно из рук в руки. На нашем веку литературное первенство долго означалось в лице Карамзина. После него олицетворилось оно в Пушкине. В настоящую минуту

верховное место в литературе нашей праздно. Наша эпоха отвечает исторической эпохе нашего междуцарствия, смут и самозванцев. В этом безначалии заключается второй важный недостаток нашей современной литературы. Разумеется, есть и теперь дарования блестящие, добросовестные, но нигде не выглядывает хотя бы литературный Пожарский, который был бы, так сказать, предтечею и доборником водворения законной власти. Силы раздробленные, второстепенные не могут заменить силу полную и сосредоточенную. Нет направления, нет стройного законного развития. Направление к расстройству, к беспорядку мы не можем назвать направлением: это разве уклонение. Владычество противозаконное не есть владычество, а насилие. Куда ни посмотри, все более или менее значительные дробы. Нигде нет самостоятельных числительных сил, клонящихся к одному общему и богатому итогу. В этом, разумеется, никого винить нельзя. Никто при всем усердии своем, никакая академия, никакое министерство просвещения не может выработать великого поэта, великого писателя, если нет на то воли Божией. Но не менее того можно жалеть о том — и не бесполезно принять это к сведению. Правду сказать, есть еще и в наше время живая слава, которою мы гордиться можем. Есть поэт, который державствовал вместе с сильными владыками русского слова. Он и теперь не утратил своего превосходства, но он им как будто не пользуется. Голос его раздается редко, и то разве в высших поэтических слоях литературы. В общественную жизнь ее, в ее ежедневное движение он всегда мало вмешивался. Ныне он и вовсе не вмешивается. Это Ахилл, который уединился в свою ставку. Но отсутствие его из стана нашего не останется для нас бесплодным. Это должно служить нам утешением<sup>8</sup>.

В последнее десятилетие литература наша как будто осиротела.

Лермонтов имел великое дарование, но он не успел, а может быть, и не умел вполне обозначить себя. Лермонтов держался до конца поэтических приемов, которыми Пушкин ознаменовал себя при начале своем и которыми увлекал за собою толпу, всегда впечатлительную и всегда легкомысленную. Он не шел вперед. Лира его не звучала новыми струнами. Поэтический горизонт его не расширялся. Лермонтов остался русским и слабым осколком Байрона. Пушкин умел выродить из себя самобытного и настоящего Пушкина.

Пушкин мог иногда увлекаться суетными побуждениями, страстями более привитыми, чем, так сказать,

самородными; но ум его в нормальном положении был чрезвычайно ясен, трезв и здрав. При всех своих уклонениях он хорошо понимал истину и выражал ее. С этой точки зрения он мог уподобляться этим дням, в которые при сильных порывах ветра и при волнении в нижних слоях атмосферы безоблачное небо остается спокойным и светлым. В Лермонтове не было, или еще не было, этой невозмутимой ясности, которая способствует поэту верно воспринимать внешние впечатления и так же верно отражать их на других. Бури Пушкина были бури внутренние, бури Лермонтова более внешние, театральные, заимствованные и, так сказать, заказные, то есть он сам заказывал их себе. В природе Лермонтова не было всеобъемлемости и разнообразия природы Пушкина. В том и другом была в высшей степени развита поэтическая впечатлительность, восприимчивость и раздражительность, доходящая до болезненности; может быть, сближались они и в высоком художественном чувстве. Но в одном из них не было той творческой силы, того глубокого и пронизательного взгляда, бесстрастия и равновесия, которые так сильно выказались в некоторых из творений другого поэта. В созданиях Пушкина отражается живой и цельный мир. В созданиях Лермонтова красуется пред вами мир театральный с своими кулисами и суфлером, который сидит в будке своей и подсказывает речь, благозвучно и увлекательно повторяемую мастерским художником.

Как бы то ни было, преждевременный конец Лермонтова оставляет неразрешенным вопрос: мог ли бы он со временем заместить Пушкина вполне? По моему мнению: вероятно, нет. Оно может быть и ошибочно, не спорю; но, по крайнему разумению моему, я указал на причины, которые никогда не дали бы Лермонтову достигнуть высоты, занятой Пушкиным<sup>9</sup>.

### III

Не позволю себе и вовсе не желаю оскорбить ничье самолюбие. Охотно и с полным сознанием скажу, что и после Пушкина встречаются у нас дарования: святое место не совсем опустело. Но ссылаюсь на добросовестное решение и единомышленников и противников наших в деле литературном и спрошу их: выдается ли в наше время личность, облеченная, по высокому дарованию своему, властью законною и, так сказать, державною, пред которою преклоняются и соискатели власти и боль-

шинство грамотного народонаселения? Единогласным ответом будет: нет! О властях незаконных, о самозванцах, как бы они удачно и блистательно ни разыгрывали роли своей, мы пока говорить не будем.

Ныне более заботятся о переломке старого, нежели о воздвижении нового: на это сил не хватает. Переломки, перестройки могут быть иногда допущены, даже иногда полезны. Но при этом нужны зодчие, которые соорудили бы новые здания на место разрушенных. Одним ломом в руке можно повалить Кремлевскую стену, но не выстроишь ни одной лачуги. На развалинах завестись домком и хозяйством трудно. При этой литературной ломке мы словно кочуем, а оседлости не имеем. Ныне учение, правила, образцы, созданные авторитетами, частью испровергнуты, а сами авторитеты поколеблены и сбиты с места. Анархия вторглась даже в установленное правописание. Кто раньше встал да перо взял, тот и коверкает все по-своему. А на всякое коверканье сыщется много подражателей и помощников. Каждый хочет отличиться своею импровизированною наугад орфографиею. Каждый спешит внести свой кирпичик в это новое вавилонское столпотворение. Русский язык, правописание его пестрят так, что в глазах зарябит. Как будто коренные начала, основы языка уже не положены и не освящены именами Ломоносова, Карамзина, Пушкина. Они писали не наобум, а обдумывали, взвешивали каждое слово, чуть ли не каждую букву, отдавая себе ясный отчет в каждом движении пера.

Когда Карамзин писал свое последнее стихотворение «Освобождение Европы», 1814 года, он прочел мне следующие стихи:

Как трудно общество создать!  
Оно устроилось веками;  
Гораздо легче разрушать  
Безумцу с дерзкими руками,—

и спросил меня, как по-моему лучше сказать: «Безумцу дерзкими руками» или «с дерзкими руками»? Я указал на первый оборот. «Нет,— отвечал он,— второе выражение живее и изобразительнее». Так оно и есть. Частица с олицетворяет безумца. Вообще, за весьма редкими исключениями, нововведения в правописание признак или тщеславия, гоньбы за пустым отличием, или, что почти то же, признак умничанья, чтобы не сказать глупости. Благоразумнее держаться обычая, если он даже и не совершенно правилен. Новая речь наша также испещряется нередко

заимствованием чужезычных слов, вовсе не нужных нам и имеющих на нашем языке слова им соответственные. Карамзина упрекали в излишестве галлицизмов. Но в сравнении с нынешними галломанами он едва ли не другой Шишков, старовер старого слога. Дмитриев говорит, что новые писатели учатся русскому языку у лабазников. В этом отношении виноват немного и Пушкин. Он советовал прислушиваться речи просвирней и старых няней<sup>10</sup>. Конечно, от них можно позаимствовать некоторые народные обороты и выражения, выведенные из употребления в письменном языке к ущербу языка; но притом наслушаешься и много безграмотности. Нужно иметь тонкое и разборчивое ухо Пушкина, чтобы удержать то, что следует, и пропустить мимо то, что не годится. Но не каждый одарен, как он, подобным слухом. Впрочем, он сам мало пользовался преподаваемым им советом. Он не любил щеголять во что бы ни стало простонародным наречием. Умение употреблять слова в прямом и верном значении их, так, а не иначе, кстати, а не так, как попало, умение, по-видимому, очень не головоломное, есть тайна, известная одним избранным писателям. Иные прилагательные слова вовсе не идут к иным существительным. Французы говорят про эти дикие сочетания: *dés mots qui hurlent de se trouver ensemble* — слова, которые воют при совокуплении их. У нас с некоторого времени раздается этот вой.

## IV

Пора сделать нам нужную оговорку. Мы доселе судили о чистой, так называемой изящной литературе. На нее одну падают наши замечания. Между тем по справедливости должно сказать, что по другим отделениям письменной деятельности оказывает у нас несомненные успехи. Собственно наука идет вперед. По разным отраслям ее издаются книги весьма замечательные. Духовная словесность, которая доньше принимала слабое участие в общем движении, пробудила современное внимание многими трудами не только в отношении нравственно-религиозном, но и в отношении историческом и богословском. Официальная, правительственная литература никогда не была так полна жизни, как ныне. Правительство раскрывает любознанию свои богатые запасы. Статистика, политическая экономия, дипломатика выходят на Божий свет из государственных тайников, в которых они долго скрывались. Отечественная история обогатилась многими исследовани-

ями и отдельными сочинениями. Их так много, мнения так различны и противоположны, что можно разве опасаться одного: чтобы излишними пояснениями не затемнили дело. Можно опасаться, чтобы горами материалов не загромождали уже пробитой дороги. Много представлено новых смет и планов. В ожидании устройства новой дороги отвлекают от прежней. За спорами дело стало. Карамзин, *не мудрствуя лукаво*, провел русскую историю широкими путями Провидения. Многие, которым показалось, что этот способ слишком прост, силятся провести ее сквозь иглиные уши<sup>11</sup> особых систем. В молодежи эти попытки понятны. Самонадеянность и алчность новизны неизменные, а в некотором отношении и похвальные свойства молодого поколения в деле жизни и науки. Узнав, что Пушкин пишет в деревне своей трагедию «Борис Годунов», я просил его сказать мне несколько слов о плане, который он предназначал себе. «Мой план,— отвечал он,— весь находится в X и XI томах «Истории» Карамзина». Почти то же сказал он и в посвящении труда своего памяти историографа<sup>12</sup>. Некоторые критики ставят ему это в порок. Мы находим в этом новое свидетельство зрелости и ясности поэтических понятий Пушкина. Если кто спросил бы Карамзина, когда готовился он писать «Историю», какому плану намерен он следовать, он мог бы отвечать с таким же чистосердечием и глубокою мудростью: «Мой план весь в событиях». Ныне пользуются событиями, чтобы изнасиловать их: так поступают особенно французские новейшие историки. Эта школа закладывается и у нас. Разумеется, исполнение простого плана не может удовлетворить всем требованиям. Иные хотят, чтобы чрез всю историю протянута была одна мысль, слышен был один лозунг, на который откликались все события. И точно есть историки, которые сбиваются на водевильных певцов. Все клонится, натягивается на один известный припев. Они начинают с того, что приберут окончательный стих, а там уже направляют мысли и выражения к заданному себе напеву. Нет сомнения, что и этот способ может иметь и в поэзии и в истории свое достоинство, но достоинство относительное, условное и особенно же *местное и единовременное*. Беранже великий поэт, даром что тащит за собою неминуемый напев, как каторжник колодку, к которой он прикован<sup>13</sup>. История в роде Тьера и некоторых других французских историков имеет свою занимательность. Это красноречивые адвокатские записки в пользу одного или другого решения политической задачи. Этот способ может

еще быть употребляем в историческом изложении известной и определенной эпохи. Тут как-нибудь можно еще пополам с грехом насильно натягивать концы с концами. Но в истории России и особенно же в труде Карамзина, который должен был начать с того, чтобы из-под праха отыскать и восстановить события, всякая натяжка, всякое заданное себе наперед направление лишили бы его возможности представить полную картину того, что было и как было.

Некоторые обвиняют «Историю» Карамзина в том, что она не философическая; нужно бы наперед ясно и явственно определить, что должно признавать философиею истории. Если под этим выражением должно подразумевать систему и обязанность с заданной точки зрения смотреть на события, то его творение в самом деле не философическое. Но между тем должно приписать это не тому, что Карамзин не знал подобного требования новейших критиков, но тому, что, в сознании ясного и самобытного ума, он был выше этих требований. Если же принять философию в более обширном и общечеловеческом смысле, то есть в смысле бесстрастной и нелицеприятной мудрости, любви к истине и к человечеству, возвышенной покорности пред Промыслом, то «История» его глубоко проникнута и одушевлена выражением этой философии. Одна есть философия частного ума и определенной эпохи, другая—выражение души бессмертной, опытности и мудрости веков. Политический характер «Истории» Карамзина также верно обозначен. Он может не всем нравиться—это другое дело. Возлюбив Россию, Карамзин должен был полюбить и пути, которыми Провидение привело ее к той степени величия и могущества, которую ныне она занимает. Карамзин не мог не быть монархическим писателем в высшем и бескорыстном смысле этого слова, потому что Россия развилась, окрепла и сосредоточилась в силу монархического начала<sup>14</sup>. По этому пути нет у него нигде ни натяжки, ни отступления от добросовестности. Ум его был ясен, сердце было чисто. Один был чужд предубеждений и систематической односторонности, другое было чуждо лукавства и лести. Не опасаясь поколебать верование в правила, коих истина и святость были для него несомненны, он нигде не утаивает ошибок, погрешностей и предосудительных уклонений власти, когда подлежат они суду историка.

Карамзин сделал многое, но, разумеется, не все историческое поле им проследовано и прочищено. Оно еще не окончательно разработано. Еще много трудов



вперед. В предисловии к «Истории» Карамзин сказал, что более всего поддерживало его в труде: «надежда быть полезным, то есть сделать российскую историю известнее для многих, даже и для *строгих его судей*»<sup>15</sup>. Надежда его вполне сбылась. Хорошо делают *строгие судии* его, что, не слепо доверяя ему, стараются новыми изысканиями и пояснениями отдельных вопросов дополнить труд его и сделать отечественную историю еще известнее. Худо поступают те, которые, принимаясь за это дело, увлекаются излишнею самонадеянностью и заносят оскорбительную руку на творение, которое все же пока остается у нас единственным памятником и маяком в области отечественной истории. Нельзя без жалости и негодования встречать часто легкомысленные и даже презрительные отзывы, которыми оценивается многолетний и добросовестный труд великого писателя. Со стороны некоторых критиков эти отзывы не заслуживают внимания. Они теряются в ничтожности обыкновенного их пустословия. Но прискорбно видеть, что в этом отношении не совершенно безгрешны даже некоторые из малого числа наших исторических деятелей, которых заслуги не подлежат сомнению. По крайней мере им надлежало бы быть умереннее и признательнее. Их любовь к науке, их ученость и ум не только давали им на это право, но ставили им это и в обязанность. Кажется, Пушкиным было сказано о некоторых критиках Карамзина-историка: они младенцы, которые кусают грудь кормилицы своей<sup>16</sup>.

Впрочем, как бы то ни было, все эти разыскания, споры противоположных мнений, гипотезы, разрешения частных вопросов, как они ни будь относительно полезны, все не дают же истории. Возвращаясь после долгого отступления к основному началу нашей статьи, нам все-таки останется заметить и сожалеть, что как после Пушкина не было у нас великого поэта, так после Карамзина не было у нас историка. Собиратели материалов, каменосеки — люди очень полезные и необходимые, но для сооружения здания нужны зодчие, а зодчего у нас нет. Еще одно замечание: нынешние исторические труды окажут свою действительную пользу в будущем. И в этом отношении они драгоценны. Ныне они, по сухости и частности своей, вообще недоступны и бесплодны для большинства читателей. Специальные люди занимаются разработкою нашей истории, но публика не в состоянии вникать в эти труды и следовать за ними. Публике нужны не догадки, не гипотезы, не материалы, а нужно что-нибудь целое, стройное, художественное. Нет сомнения, и

нельзя о том не соболезновать, что с того времени, как самые начала истории нашей снова приведены в спорную статью и доверие к труду Карамзина потрясено разнообразными требованиями, новое поколение читателей — не говоря производителей — хуже знает нашу историю, нежели знали ее за двадцать лет тому.

Распространившись здесь о Карамзине, мы, впрочем, не отступили от первоначальной мысли нашей и от задачи, которую себе положили. Отсутствие Карамзина и Пушкина живо обозначают нашу нынешнюю литературную эпоху, эпоху переходную, как мы надеемся. Как ни были разнообразны между собою дарования обоих писателей, а равно и направления их, нередко даже и противоположные, но Пушкин едва ли не более всех других писателей наших родственно примыкает к Карамзину и является прямым и законным наследником его. Как тот, так и другой были наиболее влиятельными и господствующими писателями своих эпох. В них сосредоточивались литературная сила и власть. А что ни говори, и в *республике писмен* (*république des lettres*) нужна глава, нужен президент. У многих нянек дитя без глаза, а здесь, пожалуй, без языка. Избранный писатель, увлекая деятельностью и производительностью своею, вместе с тем нечувствительно и неосознательно налагает пример свой на других. Он, кажется, одарен одною прелестью, но эта прелесть оказывается могуществом, неотразимым завоеванием. Великий писатель, назло выдуманной Тьером политической аксиоме «*le roi règne et ne gouverne pas*»<sup>17</sup>, в одно время и царствует и управляет: он царствует потому, что управляет, и управляет потому, что царствует.

## V

В это последнее время литература переродилась в журналистику. Уже давно сатирик князь Горчаков сказал:

И наконец я зрю в стране моей родной  
Журналов тысячи, а книги ни одной<sup>18</sup>.

Что же сказал бы он ныне?

Литература, эта некогда блестящая и богатая барыня, была, вследствие несчастных обстоятельств, выжита из наследственных и роскошных своих палат; волею-неволею вынуждена она перебраться в заезжий дом, в *шамбргарни*, и там, пробавляясь на мещанском положении, обедать с жильцами дома за общим столом, не слишком опрятным, а часто и малосытным. *Sic transit gloria*

mundi<sup>19</sup>, сказал бы я, если хотел пощеголять дешевым знанием латинского языка. Но, к прискорбию моему, я по-латыни не знаю, хотя во время оно и усердно учился ей у знаменитого профессора Буле и сохранил в старых бумагах своих целые тетради, писанные мною смолоду на латинском языке. Дивлюсь им и не верю глазам своим, гляжу на них и узнаю свой почерк. Жизнь, последствия ее и практические, насущные потребности жизни выбили из головы и памяти моей всю эту латинскую премудрость. Только и знаю, что по-латыни два алтына, а по-русски шесть копеек — поговорку, слышанную мною от дядьки моего.

Толстые журналы начали появляться и при Пушкине. Но после него они, не скажу подобрели, а, кажется, еще пожирели. Журналы дело хорошее и полезное, но при соблюдении некоторых условий. Журналы должны быть дополнением к литературе, а не могут быть заменой ее. Надобно начать литературою и кончить журналистикою. У нас журналистика стала впереди. Это незаконное завладение чужою собственностью. Это самозванство. Журналы уместны и пригодны в обществе уже образованном, зрело воспитанном на почве сведений и науки. Там служат они справочными листками, ведомостями не о самой науке, но о движении различных отраслей ее, о новых применениях ее к делу жизни, к делу действительности. Там никто не учится по журналам, а насущно доучивается, потому что каждый день, каждый шаг чему-нибудь дополнительно доучит и к чему-нибудь новому поведет. В обществе еще мало образованном исключительное, всепоглощающее господство журналистики имеет свою вредную сторону. Журналы кое-как бросают семена в неприготовленную, неразработанную почву, дают огнестрельные оружия в руки, не наученные, как ими пользоваться. Нет книг, которые требуют усидчивого внимания и труда и, так сказать, правильного и медленного пищеварения. Жадности читателей кидают статьи, которые они в один присест, в один глоток проглатывают. Молодежь, которая сама ничего не читала, кроме текущих журналов, пускается тоже в журнальный коловорот, пишет статьи и учит тому, чему сама не училась, по той простой и естественной причине, что она не училась ничему. Можно представить себе, какие слои, какие пласты ошибочных, лживых и превратных понятий и сведений, какая гуща невежества окончательно ложатся на умы молодых поколений, которые образуют себя на этой нездоровой почве и питаются этими смешанными и мутными подонками.

Журналы приобрели у нас в последние года такое влияние, что стоит о них поговорить еще обстоятельнее и пространнее. Во-первых, заметим, что эта журналомания, как в отношении к самим журналам, так и в отношении к порабощению читателей, закабаливших себя с своими понятиями, верованиями, правилами тому или другому журналу, явление у нас вовсе не самородное, а более заимствованное и усвоенное по нашей привычке и ловкости к подражанию. Русская газета, русский журнал, пожалуй, то же, да совсем не то, что газета и журнал, например, французские и английские. Журналистика на Западе, а особенно во Франции, которая нам более известна, есть в самом деле сила, общественное учреждение, истекающие из целого общественного и гражданского строя. Да и самая материальная, экономическая сторона журнала вовсе не та, что у нас. Там журнал, газета не единоличный орган или проводник мнений. Они явления и плоды товарищества умственного и денежного. Тем самым они представители чего-то положительного и существенного, как в теории и умозрении, так и в действительности и на практике. Там подобное товарищество, как и всякое другое, подчинено условиям и законам взаимной пользы, взаимного единомыслия. Там оно связано выгодами или невыгодами предприятия, дивидендами нравственного успеха и успеха денежного. Главные участники в периодическом издании, вкладчики в журнальный капитал, в журнальную кассу имеют непосредственный или побочный голос в делах журнала, в направлении его, в поддержке и распространении тех или других мнений и воззрений и в ратоборстве с мнениями и стремлением противоположных лагерей. Там газета и журнал водружают политическое или литературное знамя своего цвета, своего ополчения, потому что там есть организованные враждебные силы, есть литература более или менее деятельная и воинствующая (militante). Под этими знаменами вербуются новые рекруты, будущие сподвижники, укрепляются во мнении и служении своим старые бойцы и сослуживцы. С подобными журналами, отголосками общества, то есть того или другого большинства этого общества, и само общество и правительство могут и должны справляться, должны следовать за движениями и указаниями этих барометров. У нас журнал не может иметь ни того значения, ни той важности. У нас журнал не коллективная сила. У нас первый Петр Иванович Добчинский или первый Петр Иванович Бобчинский может завести журнал, как завел бы он табачную лавочку. Разница только в том, что для

заведения табачной или другой лавочки нужно предварительно иметь все-таки какой-нибудь запасной капитал; а здесь сами потребители, покупщики-подписчики вносят заранее и на кредит деньги в открывающуюся лавочку в надежде на товар и на будущие блага. Нельзя не заметить еще, что журналист Бобчинский до облачения себя в звание журналиста был или вовсе неизвестен в уезде своем, или не пользовался в нем никаким авторитетом, а только «петушком, петушком» бегал за дрожками городничего («Ревизор» Гоголя). Никому, разумеется, не приходило в голову обращаться к нему за советом, за руководством в том или другом недоумении, за суждением о правительственном или общественном вопросе. Но Бобчинский-Добчинский сделался журналистом — и весь уезд обращается к нему с благоговением или страхом. Он переродился в наставника, проповедника, пророка. Уезд в него верует, им мыслит, им любит и ненавидит, им смотрит и видит, им слушает и слышит.

Благо, что заплатил я деньги, говорит подписчик, я теперь освобожден от труда и неволи ломать себе голову над разрешением того или другого вопроса. Это дело журналиста отправлять черную работу, а мне подавай он уже готовые разрешения.

И в самом деле, ум многих подписчиков, так сказать, на хлебах у журналиста. Стоит только присесть к журналу и кушать.

Иная книга и умно и дельно написанная все же стоячая вода. Она и сама не двигается и других не приводит в движение. Журнал и газета источники, которые непрерывным цежением, капля за каплею, пробивают камень, или голову читателя, который подставил ее под их подмывающее действие.

Пушкин и сам одно время, очень непродолжительное, был журналистом. Он на веку своем написал несколько острых и бойких журнальных статей; но журнальное дело не было его делом. Он не имел ни достойных качеств, ни погрешностей, свойственных и даже нужных присяжному журналисту. Он, по крайней мере во втором периоде жизни и дарования своего, не искал популярности. Он отрезвился и познал всю суетность и, можно сказать, горечь этого упоения. Журналист поставщик и слуга публике. А Пушкин не мог быть ничьим слугою. Срочная работа была не по нем. Он принялся за журнал вовсе не из литературных видов, а из экономических. Ему нужны были деньги, и он думал, что найдет их в журнале. Думал он, что и совладеет с журнальным предприятием не хуже

другого. Не боги же обжигают горшки. Нет, не боги, а горшечники; но он именно не был горшечником. Таким образом, он ошибся и обчелся и в литературном и в денежном отношении. Пушкин тогда не был уже повелителем и кумиром двадцатых годов. По мере созревания и усиливающейся мужественности таланта своего он соразмерно утрачивал чары, коими опаивал молодые поколения и нашу бессознательную и слабоголовую критику. Подобное явление нередко и в других литературах, а у нас оно почти естественно. По этому предмету говорил Гнедич: «Представьте себе на рынке двух торговцев съестными припасами: один на чистом столике разложил слоеные, вкусные, гастрономические пирожки; другой на грязном лотке предлагает гречневика, облитые вонючим маслом. К кому из них обратится большинство покупателей? Разумеется, к последнему».

Пушкин не только не заботился о своем журнале с родительскою нежностью: он почти пренебрегал им. Однажды прочел он мне свое новое поэтическое произведение. Что же, спросил я, ты напечатаете его в следующей книжке? Да, как бы не так, отвечал он, *pas si bête*<sup>20</sup>; подписчиков баловать нечего. Нет, я приберегу стихотворение для нового тома сочинений своих. Он впоследствии, когда запряг себя в журнальную упряжь, сердился на меня, что я навязал ему название «Современника», при недоумении его, как окрестить журнал<sup>21</sup>. Обозревая положение литературы нашей по кончине Пушкина, нельзя не заметить, что с развитием журналистики народилась и быстро и сильно развилась у нас литература скороспелая, литература и особенно критика на авось, на катая-валяй, на *à la diable m'emporte*<sup>22</sup>, на знай наших, а ничего другого и никаких других мы знать не хотим. Любопытно было бы знать и определить, могла ли бы эта разнузданная, междуцарственная литература и порожденная ею критика достигнуть при Пушкине тех крайностей, которых дошла она после Пушкина. Едва ли. Самые ярые наездники наши, вероятно, побоялись бы или постыдились его.

В этом предположении заключается сожаление о том, чего не мог он доделать сам, и о том, что было сделано после него и потому, что его уже не было.

## VI

А что сделал бы он еще, если смерть не прекратила бы так скоропостижно деятельности его? Грустно о том подумать. Его не стало в самой поре зрелости и силы

жизни его и дарования. Сложения был он крепкого и живучего. По всем вероятностям, он мог бы прожить еще столько же, если не более, сколько прожил. Дарование его было также сложения живучего и плодovitого. Неблагоприятные обстоятельства, раздражавшие его по временам, могли бы улечься и улеглись бы, без сомнения. Очистилось бы и небо его. Впрочем, не из тучи грянул и гром, сразивший его. В Пушкине и близкой среде, окружающей его, были залого будущего спокойствия и домашнего счастья. Жизнь своими самовластительными условиями и неожиданными превратностями нередко так усложняет и перепутывает обстоятельства, что не каждому дается вовремя и победоносно справиться с ними. Кто тут виноват? Что тут виновато? Не скоро доберешься до разрешения этой темной и таинственной задачи. Теперь не настала еще пора подробно исследовать и ясно разоблачить тайны, окружающие несчастный конец Пушкина. Но во всяком случае, зная ход дела, можем сказать положительно, что злорадству и злоречию будет мало поживы от беспристрастного исследования и раскрытия существенных обстоятельств этого печального события.

Повторяем: Пушкин мог бы еще долго предаваться любимым занятиям своим и содействовать славе отечественной литературы и, следовательно, самого отечества. Движимый, часто волнуемый мелочами жизни, а еще более внутренними колебаниями не совсем еще установившегося равновесия внутренних сил, столь необходимого для правильного руководства своего, он мог увлекаться или уклоняться от цели, которую имел всегда в виду и к которой постоянно возвращался после переходных заблуждений; но при нем, но в нем глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила. Еще в разгаре самой заносчивой и тревожной молодости, в вихре и разливе разнородных страстей, он нередко отрезвлялся и успокоивался на лоне этой спасительной силы. Эта сила была любовь к труду, потребность труда, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства, которые из груди его просились на свет Божий и облекались в звуки в краски, в глаголы очаровательные и поучительные. Труд был для него святыня: купель, в которой исцелялись язвы обрета-ли бодрость и свежесть немощи уныния, восстанавливались расслабленные силы. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокоивался, мужал, перерождался. Эта живительная, плодотворная деятельность иногда притаивалась в нем, но не надолго. Она

опять пробуждалась с новою свежестью и новым могуществом. Она никогда не могла бы совершенно остыть и онеметь. Ни года, ни жизнь с испытаниями своими не могли бы пересилить ее.

## VII

В последнее время работа, состоящая у него на очереди, или на *ферстаке* (верстаке), как говаривал граф Канкрин, была «История Петра Великого». Труд многосложный, многообъемлющий, почти всеобъемлющий. Это целый мир! В Пушкине было верное понимание истории: свойство, которым одарены не все историки. Принадлежностями ума его были: ясность, пронизательность и трезвость. Он был чужд всех систематических, искусственно составленных руководств; не только был он им чужд, он был им враждебен. Он не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее изготовленных, как то часто делают новейшие историки, для удобного вложения в них событий и лиц, предстоящих изображению. Он не историю воплощал бы в себя и в свою современность, а себя перенес бы в историю и в минувшее. Он не задал бы себе уроком и обязанностью во что бы то ни стало либеральничать в истории и философничать умозрительными анахронизмами. Пушкин был впечатлителен и чуток на впечатления; он был одарен воображением и, так сказать, самоотвержением личности своей настолько, что мог отрешать себя от присущего и воссоздавать минувшее, уживаться с ним, породниться с лицами, событиями, нравами, порядками, давным-давно замененными новыми поколениями, новыми порядками, новым общественным и гражданским строем. Все это качества необходимые для историка, и Пушкин обладал ими в достаточной мере. История прежде всего должна быть, так сказать, разумным зеркалом минувшего, а не переложением того, что есть. В старину переводились у нас иностранные драмы с *переложением на русские нравы*, так что все выходило ложно: был искажен и подлинник, были искажены и изнасильничаны нравы. То же бывает и с историями, выкроенными по последнему образцу и по последнему вкусу, то есть переложенными на новые либеральные нравы. С Пушкиным опасаться того было нечего. Он перенес бы себя во времена Петра и был бы его живым современником; но был ли бы он законным и полномочным судьей Петра и всего, что он создал? Это другой



вопрос. Не берусь решить его ни в утвердительном, ни в отрицательном отношении. Замечу только, что нужно почти всеведение, чтобы критически исследовать все преобразования, совершенные Петром, оценить их каждое особо и все в сложности их и во взаимной их совокупности. Живописец пишет картину с природы и поражает нас естественною и художественною верностью. Геолог изучает и воссоздает ту же местность, что живописец, но он не довольствуется внешнею стороною почвы и проникает в подспудные таинства ее и выводит, определяет непреложные законы природы. Историк должен быть живописец и геолог. Одно из этих свойств было в Пушкине до высшей степени. Пушкин был великий живописец, но могли он быть вместе с тем историком-геологом, другим историком Кювье? Тот изучил перевороты, перерождения земного шара (*des révolutions du globe*) и едва ли не с математическою верностью определил их свойства и значения. Царствование Петра заключает в себе несколько революций, изменивших старый склад и, так сказать, ветхий русский мир. Оно указывает на новую космогонию и требует всеведущего космографа.

Пушкин оставил по себе опыт исторического пера в своей «Истории Пугачевского бунта». Но это произведение одно эпизодическое повествование данной эпохи, можно сказать, данного события. Но и в этом отношении труд его не столько «История Пугачевского бунта», сколько *военная история* этого бунта. Автор свел в одно стройное целое военные реляции, военные дневники и материалы. Из них составил он боевую картину свою. Но в историю события, но в глубь его он почти не вникнул, не хотел вникнуть или, может быть, что вероятнее, не мог вникнуть по внешним причинам, ограничившим действие его. Автор в предисловии своем говорит: «Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною оставленного». Этими словами он почти опровергает или по крайней мере значительно ослабляет более обширный смысл заглавия книги своей. Как отрывок с предназначенною целью, он совершенно достигает ее. При чтении убеждаешься, что события стройно и ясно вкладывались в понятие его и также стройно и ясно передаются читателю. Рассказ везде живой, но обдуманый и спокойный, может быть, слишком спокойный. Сдается, что Пушкин будто сторожил себя; наложенною на себя трезвостью он будто силился отклонить от себя и малейшее подозрение в употреблении поэтического напитка. Прозаик крепко-накрепко запер себя в прозе, так чтобы поэт не мог и

заглянуть к нему. Впрочем, такое хладнокровие, такая мерность были естественными свойствами дарования его, особенно когда выражалось оно прозою. Он не любил *бить на эффект, des phrases, des mots à effet*<sup>23</sup>, как говорят и делают французы. Может быть, доводил он это правило почти до педантизма<sup>24</sup>.

У Пушкина кроме «Пугачевского бунта» найдутся еще другие произведения, в которые история входит и вносит свои вспомогательные силы. Возьмите, например, главы, к сожалению, не конченного романа «Арап Петра Великого». Как живо и верно обрисованы легкие очерки Петра и современного и, так сказать, насильственно создаваемого им общества. Как увлекательно и могущественно переносят они читателя в эту эпоху. Истории прагматической, истории политической, учебной истории здесь нет. Здесь мимоходом только, так сказать, случайные прикосновения к истории. Но сколько нравственной и художественной истины в этих прикосновениях. Это дополнительные и объяснительные картины к тексту истории. Петр выглядывает, выходит из них живой. Встреча его с любимым Ибрагимом в Красном Селе, где, уведомленный о приезде его, ждет его *со вчерашнего дня*, может быть, и даже вероятно, не исторически верна, но что важнее того: она характеристически верна. Этого не было, но оно могло быть: оно согласно с характером Петра, с нетерпеливостью и пылкостью его, с простотою его обычаев и нрава. То же можно сказать об аудиенции, когорую Петр *на мачте нового корабля* дает приезжему из Парижа молодому К. Тут нет ни одной черты, которая изменила бы очертанию и краскам современного быта, нет ни единого слова, которое звучало бы неуместно и фальшивою нотою. Везде верный колорит, везде верный диапазон. А неожиданный приезд Петра к Гавриле Афанасьевичу во время самого обеда и в самый разгар сетований о старом времени и укоризн на новые порядки, сватовство дочери хозяина за любимого им арапа, которое он принял на себя; все это живые картины, а потому и верные, и верные картины, потому что живые. Где нет верности, там нет и жизни, а одна подделка под жизнь, то есть именно то, что часто встречается в новейших романах, за исключением английских. Англичане такой практический народ, что и романы их практические. Даже и в вымысле держатся они того, что есть или быть может. Оставляем в стороне прелесть романтического рассказа, также живого отголоска того, что есть и быть могло. Здесь имеем в виду одни свойства будущего историка,

одни попытки, в которых он умел схватить, так сказать мимоходом, несомненные приметы исторического лица, что, впрочем, доказал он и прежде в изображениях своих Бориса Годунова, Димитрия Самозванца, Марины, Шуйского. Каким молодцем вышел бы у него Петр I, если он дописал бы свой роман.

В «Капитанской дочке» история Пугачевского бунта или подробности о нем как-то живее, нежели в самой истории. В этой повести коротко знакомишься с положением России в эту странную и страшную годину. Сам Пугачев обрисован метко и впечатлительно. Его видишь, его слышишь. Может быть, в некоторых чертах автор несколько *идеализировал* его. В его — странно сказать, а иначе сказать нельзя — простодушии, которое в нем по временам оказывается, в его *искренности* относительно Гринева, пред которым он готов не выдаваться за Петра III, есть что-то напоминающее очерк Димитрия Самозванца, начертанный тем же Пушкиным. Но если некоторые подробности встречаешь с недоумением, то основа целого и басня на ней изложенная верны. Скажем опять: если оно было и не так, то могло так быть. От крепости Белогорской вплоть до Царского Села картина сжатая, но полная и мастерски воспроизведенная. Императрица Екатерина так же удачно и верно схвачена кистью мастера, как и комендантша Василиса Егоровна. Пугачев в живости облика своего не уступает живости облика дядьки Савельича. А что за прелесть Мария! Как бы ни было, она принадлежит русской бытине о Пугачеве. Она воплотилась с нею и отсвечивается на ней отрадным и светлым оттенком. Она другая Татьяна того же поэта. Как далеки эти два разнородные типа русской женщины от Софии Павловны, которую сам Грибоедов назвал *негодяйкою*, и от других *героинь-негодяек*, которых многие из повествователей наших воспроизводят с такою любовью по образу и подобию привидений, посещающих их расстроеное воображение. Разница между лицами вымышленными фантазией писателя с дарованием и лицами, может быть, иногда и действительными, которых писатели другого разряда выводят на сцене или на страницах романа, заключается в следующем: первые лица, небывалые, бесплотные, мимолетные, нам с первых пор кажутся знакомыми и сродни; мы тотчас входим с ними в сочувственные отношения; их радость — наша радость, их горе — наше горе. А другие лица, хотя и патентованные, взятые из живой среды, не только воплощенные, но и плотные, не прикасаются до нас под кистью неумелого

живописца. Чем более, чем далее мы в них всматриваемся, тем более кажутся нам они незнакомыми и несбыточными. Дело в том, что в лицах первого разряда, то есть вымышленных, есть истина, то есть художественная реальность, а в лицах другого разряда, домогающихся казаться реальными, есть ложь или отсутствие дарования. Как ни воспроизводи живописец каждую бородавку, каждое родимое пятнышко, каждую морщинку на лице избранного им подлинника, в подробностях есть утомительная отчетливость, но в целом нет оригиналов, нет жизни.

Чем более вникаешь в изучение Пушкина, тем более убеждаешься в ясности и трезвости взгляда и слова его. В лирических творениях своих поэт не прячется, не утаивает, не переодевает личности своей. Напротив, он как будто невольно, как будто бессознательно весь себя выказывает с своими заветными и потаенными думами, с своими страстными порывами и изнеможениями, с своими сочувствиями и ненавистями. Там, где он лицо постороннее, а действующие лица его должны жить собственной жизнью своею, а не только отпечатками автора, автор и сам держится в стороне. Тут он только согладатой и сердцеиспытатель; он просто рассказчик и передает не свои наблюдения, умствования и впечатления. Часто повествователи держатся неотлучно при своих героях, то есть при школьниках своих. Они перед публикою подсказывают им понятия и чувства свои. Им все хочется проговориться и сказать публике: это я так говорю, так мыслю, так действую, так люблю, так ненавижу, и проч., ищите меня в приводимых мною лицах, а в них ничего не ищите. Они нули, и только при моей всепоглощающей единице они составляют какое-нибудь число. Оттого повествования их, и при количестве лиц, нагнанных ими на сцену, выходят однообразны и одноголосны, а следовательно, приторны и скучны.

Если позволено несколько опозитизировать прозу действительности, то можно было бы сказать, что литература наша обрекла себя на десятилетний траур по кончине Пушкина. Вдова вся сосредоточилась и сама погребла себя в утрате и скорби своей. Она уже не показывается в праздничных и яркого цвета платьях. Она ходит в черной рясе, чуть ли не в власянице. Дом ее затих и почти опустел. Новых гостей не видать в нем. Изредка посещают его одни старые приятели дома. Так и чуешь, так и видишь, что хозяина нет.

Теперь, как в доме опустелом,  
 Все в нем и тихо, и темно,  
 Замолкло *навсегда* оно;  
 Закрыты ставни, окна мелом  
 Забелены<sup>25</sup>.

Оно так, но, надеемся, не *навсегда*. Срок продолжительного траура минует. Дом опять оживится. Вдова скинет траурную одежду свою. Может быть, около входа в дом уже заглядывают в него молодые посетители, может быть, и будущие новые соперники оплакиваемого властителя. Не будем предаваться унынию и безнадежному отчаянию. Посмотрим, что скажет, что покажет нам новое десятилетие.

---

[А. И. ТУРГЕНЕВ]

---

Тургенев, Александр Иванович, был тоже мастер по этой части<sup>1</sup>. Однажды Карамзин читал молодым приятелям своим некоторые главы из «Истории государства Российского», тогда еще неизданной. Посреди чтения и глубокого внимания слушателей вдруг раздался трескучий храп Тургенева. Все как будто с испуга вздрогнули. Один Карамзин спокойно и хладнокровно продолжал чтение. Он знал Тургенева: дух бодр, но плоть немощна. Впрочем, склонность его к засыпанию в продолжении дня была естественна. Он вставал рано и ложился поздно. Целый день был он в беспрестанном движении, умственном и материальном. Утром занимался он служебными делами по разным отраслям и ведомствам официальных обязанностей своих. Остаток дня рыскал он по всему городу, часто ходатаем за приятелей и знакомых своих, а иногда и за людей совершенно ему посторонних, но прибегавших к посредничеству его; рыскал часто и по собственному влечению, потому что в натуре его была потребность рыскать. Один из приятелей его говорил о нем: «Il n'est pas le grand agitateur (известный ирландский великий агитатор Оконель), mais le grand agité (не великий волнователь, но великий волнующийся)». Дмитриев прозвал его *маленьким Гриммом*, а потом *пилигримом*, потому что он был деятельным литературным корреспондентом и разносителем в обществе всех новых произведений Жуковского, Пушкина и других. (В половине минувшего